БЕЗМОЛВИЕ

СЛАВА МАРЧИК
Родился в 1964 году. Окончил экономический факультет Горной академии. Работал в горнорудной промышленности. Учится в CWS. Живет в Балашихе.

Man weiss nie, wann eine unangenehme Wahrheit verschwindet.

Никогда не знаешь, когда неудобная правда просочится сквозь пальцы и исчезнет.

Из словаря Glosbe, пример к переводу слова unangenehm

Летняя ночь нехотя отдавала прохладу через малый квадрат форточки. Одинокий комар маялся в москитной сетке. Уличный фонарь превращал тусклую полосатую штору в декорацию заезжего цирка. По ткани гуляли красные и желтые волны. Тени деревьев скользили по зыбкой симметрии складок.

Комната была отделена тихим пространством коридора от спящей родни, входной двери и шума соседей.

В этой комнате вся наша история последних четырех лет.

Застенчивые и короткие первые свидания. Немногословные признания. Отзвучавший Мендельсон. Каждодневная веселая рутина с пожеланиями хорошего дня и спокойной ночи. Тревожное и радостное ожидание рождения ребенка.

Давнишняя сумятица и беспокойство. «Ты не слышишь, – говорит мне двумя годами раньше в такой же душной ночи жена. – Я рожаю». – «Точно?» – «Наверное, не знаю». – «Спи, утром разберемся». Снова: «Проснись, кажется, рожаю!» В окне – свет зрелого июльского утра. «Тогда пошли».

Вечер первого появления дочки в комнате. Ночь – ребенка в кроватке неслышно. Вскакиваешь и замираешь – нет-нет, все нормально. И опять просыпаешься – дышит, дышит.

Мебель и темнота забирают воздух.

В четырнадцать квадратов втиснуты вещи.

Диван, съедающий в разложенном виде треть комнаты.

Старый, отливающий глянцем шкаф, ящички которого уверенно заполняются детской одеждой и игрушками.

В углу неподъемный коричневый лакированный стол. В тумбочке конспекты – мои для уроков и студенческие жены. Где-то в ящиках дефицитные (было и такое время) презервативы. О них почти не вспоминаешь, а понадобятся – так некогда рыться. В нижнем ящике – бюджетные деньги и поддающиеся легкому учету накопления. Сверху пара журналов, которые мы читаем друг за дружкой. А еще недавно на нем лежало байковое бежевое одеяльце и клеенка для пеленания дочки.

Сейчас она спит в кроватке. По протекции и за деньги я ее устроил в детский сад, и через два дня мы едва не потеряли ребенка от какого-то

странного отравления. Больше она туда не ходила. Через месяц выпьем шампанского за ее два года. Жена подарила дочку после второго курса в девятнадцать, год была дома, а вчера выдохнула третий курс обучения.

И этой душной июньской ночью жена тихо и спокойно сказала, что снова беременна и хочет сделать аборт.

Ниоткуда и врасплох. Как приступ астмы из детства. Я глотаю воздух и смотрю на взрослых, а они виновато на меня, и никто не может справиться с удушьем. Я не знал о беременности и прошу воздержаться и не делать аборт. Она помолчала и ответила, что уже поговорила с мамой, все решила и записалась на операцию завтра в больницу к одиннадцати часам.

Никакие аборты не входили в мои планы. Жизнь казалась музыкой Моцарта – красивой, веселой, с импровизациями, с моментами печали, но без сцен, рвущих душу. Иголка на пластинке прыгнула, и воздушное перекликание Папагено с Папагеной неумолимо и сурово продолжились Dies irae с Lacrimosa.

Жуткое ощущение того, что вот этот маленький плод, зародыш, росток, почка, комочек, существо, тельце, икринка, надежно прикрепился к мамке, радуется ей, живет с ней одной животной теплотой и в какой-то миг безжалостной, безразличной ловкой рукой подсекается, подрезается и теряет право быть живым, было для меня непереносимо. Бред носился в голове, как призраки от дешевой анестезии во время затянувшейся операции.

Одинокий комар попусту упорствовал и погибал в москитной сетке. По стенке покорно и с безразличием ходили тени.

Тело моей жены принадлежало не мне. Я никого не хотел убивать.

Утром она ушла. Мы с дочкой сиротливо сидели дома.

Мне не хотелось придумывать ответы на вопросы соседей о том, где жена и почему я сегодня и утром, и вечером гуляю с дочкой.

Пока ребенок спал, я вспоминал все, что слышал об абортах. Выскользнувшее из разговоров соседей на скамейке у дома, родителей на кухне, слово запомнилось лет в десять, и смысл был схвачен быстро и цепко. В памяти – статьи в газете о подпольных операциях, мои наивные самоуверенные сокурсницы, вчера говорившие о свободе поведения, а сегодня притихшие после недельного отсутствия. Документальные фильмы перед сеансами в кино – плачущие девочки, истории женщин, прямоугольники, закрывающие их глаза. Кровь, стук и противный скрежет инструментов. Осложнения, кровотечения, патологии.

Я вспомнил историю мамы. В один из дней, когда беспросветное отчаяние от пьянства брата стало нестерпимым и слез уже не было, она четко и с ледяным спокойствием сказала, что он – наказание за ее грехи. «Мам, что за ерунда!» И она смиренно открылась, что между мной и братом у нее была еще одна беременность. Но жили в коммуналке, «на три хозяина», стояли в очереди на жилье. Она решилась. Теперь жалела. «Как-то бы прожили, люди живут же».

Она воспринимала аборт как слабость, грех, как преступление, понятное и извиняемое окружающими, но для нее страшное событие без срока давности и прощения.

Я не допытывался, как они с отцом решали, кто настаивал, кто возражал.

И только сейчас я вдруг понял, что мне была дарована жизнь. Мне повезло проскочить! Я был первенцем. Надеюсь, желанным. И обязательным. Что я еще мог предположить? Мое появление соответствовало человеческой страсти, людской морали ближайшего окружения и всем стандартам государства.

Я родился в апреле, а родители поженились годом ранее в феврале. Мамины родители были довольны: никакой добрачной беременности, все как полагается – «расписались, тогда и дети». Ее родители были суровы, шестеро детей ответственны и дисциплинированны. Отца и маму называли на «вы». Семья оказалась в СССР после присоединения Волыни, территории, до 1939 года входившей в состав довоенной Речи Посполитой. Слово отца было окончательным и бесповоротным.

Уже после смерти мамы я хотел уточнить у тетки обстоятельства маминого аборта. Был ли он официальным или обращались к кому-то подпольно «на дому». Много лет она работала в поликлинике и точно знала эту историю. Тетя сухо сказала: «Не хочу тревожить Юлечкин покой».

Я вспомнил Валю.

Годом раньше из села приехала моя двоюродная сестра Валя. Это село и в детстве, и в юности казалось мне забытым и забитым осколком цивилизации. Бескрайняя степь, которую видно из любой хаты. Три или четыре параллельные улицы, разделенные стометровыми огородами и непременными летними подсолнухами как гарантией существующей межи. Огромное небо и бесконечная тоска. Люди как элемент пейзажа. Тоска,

Сестра ходила и сдавала анализы, проходила лечение, консультировалась. Через три недели надежда, как дым, пошла по воде – сломленной и обозленной она уехала домой. Ей выдали заключение о невозможности иметь детей. Она махнула на мир и себя рукой, стала пить, и чем больше становились урожаи зерновых, чем больше было работы и денег, тем веселее были загулы до беспамятства.

из-за которой не видишь неба. И вечный, почти круглосуточный труд моей тети-доярки.

Шел третий год Валиной семейной жизни, но зачать ребенка не получалось. В районной больнице ей поставили диагноз «воспаление фаллопиевых труб» – спасать будущее решилась в областном городе. Ее отпустили с хлебоприемного предприятия в начале июня – до поставок зерна нового урожая еще было полтора месяца.

Больничный комплекс был рядом с роддомом, где появилась моя дочка. Я приходил к сестре с передачами и, сидя на лавочке во дворе, удивлялся, кому в голову пришло объединить два места – роддом со счастливыми мамашами и отделение, в котором от неизвестности страдают молодые женщины.

Вале было непривычно, что я прихожу проведывать ее: детство она провела с братом в интернате, в селе школы не было, дети приезжали только на выходные, и то не всегда. Чувства никто не выражал: жизнь – тяжелая повинность. Она привезла с собой две пачки пятирублевых купюр, но все не могла понять, на каких санитарок и докторов делать ставку. Она тыкалась, как молодая телка, которая ищет заботливую руку и не знает, к чьей ласке приткнуться.

Сестра ходила и сдавала анализы, проходила лечение, консультировалась. Через три недели надежда, как дым, пошла по воде – сломленной и обозленной она уехала домой. Ей выдали заключение о невозможности иметь детей. Она махнула на мир и себя рукой, стала пить, и чем больше становились урожаи зерновых, чем больше было работы и денег, тем веселее были загулы до беспамятства.

Вернулась с работы теща. Мы с ней не говорили о происходящем – как будто неуверенно шли по льду незнакомой реки и боялись провалиться. К вечеру позвонила жена и сказала, что ей нужно остаться до утра. И я могу ее забрать завтра в десять.

Крутой подъем – дорога резко уходила вверх, и надо распределять дыхание для того, чтобы идти без одышки. Ноги были ватные. Вокруг – беззвучная картинка. По улице ходили и клевали траву куры, мотоциклисты проверяли моторы и тормоза, редкие автомобили, вытащенные из гаражей в тень вишен и орехов, пахли маслом и сладкой ванилью салонов.

Я хорошо знал эту дорогу: там, наверху, находился роддом. Два года назад я забрал оттуда жену и дочку. Мы спускались с ощущением счастья и новизны. Немного дрожали руки – я только учился управлять гэдээровской коляской, доставшейся в наследство от родственников. И когда теща говорила, заглядывая в люльку: «Какая некрасивая девочка», я вздрагивал и косился, а она смеялась: «Так принято – не расстраивайся».

Теперь с женой мы встретились у того же роддома с тем же пейзажем во дворе. Мельком, в силу обязанности, глянули друг другу в глаза, не обнялись – прислонились и пошли домой. Было то тягостное молчание, которое возникает, когда в печальном и запретном прошлом уже ничего изменить нельзя и зацепиться не за что для начала разговора и продолжения жизни – все будет неискренне и надуманно.

Мы спускались, я поддерживал жену, в голове металась фраза из недавней книжки – «путь вверх и вниз один и тот же». Путь вверх и вниз

проходится по-разному. Нам Бог сыпал щедрой рукой, а мы упирались.

Во дворе в одинокой песочнице сидели малые милые детки, кто-то кружился на скрипучей полинялой и давно не крашенной карусели. Мамки разгоняли качели, детки пищали и чирикали от удовольствия и страха.

Мы прошли через двор, натужно здороваясь с соседями.

Вечер застыл в молчании. Безразлично отсчитывал минуты будильник. Я попытался отвлечься – шел чемпионат мира по футболу. Кто-то играл с кем-то, звук был отключен. Дочка в недоумении от тишины ходила между комнатами и втягивала меня в игру. Она подсовывала пластиковые фигурки для строительства домиков, раскладывала картинки Монтессори. С наступлением сумерек я задернул шторы и показал ребенку диафильмы на белом полотне двери.

Надо было жить дальше. К рождению детей мы никогда больше не возвращались.

Прошло много лет, и ясным апрельским вечером с высоким солнцем и беспредельной пустотой голубого неба в день своего юбилея, посреди праздника и цветов, мне вдруг стало горько и больно за своего неродившегося ребенка. Я отвечал на искренние поздравления, а внутри стонал, как кошка возле раздавленного джипом котенка. Кричать! Куда, кому, в какую даль? Жизнь прошла.

Жена давно жила в другой стране с другим человеком, теща умерла. Я никогда и ни единым словом не поставил никому из них в упрек эту историю. Они остались в моей памяти милыми замечательными людьми.

У меня нет ни к кому никаких претензий. Только к себе. Я не смог его спасти.

Иногда вспоминаю, как было тогда, там, где Моцарт и увертюра к «Волшебной флейте». Время, когда мы только поженились.

Мы решили поехать в кино, но садились на разных остановках. Я – из дому, жена – от гинеколога. Морозным вечером в ноябрьском непрогретом троллейбусе было зябко. Я сидел у окна, покрытого снежной коркой людского дыхания. Две остановки – холодок ожидания. Но когда заскрипели створки двери и улыбающаяся жена сказала «Да!», я засмеялся от радости.

Сквозь иней мелькали огни магазинов, и над речкой вспыхивали и расцветали звезды.

Мы ждали еще одну.